

18+

Эрих Эрлэнбах

ВЫБОР

Эрих Эрлэнбах

Выбор

<https://litres.ru/74504254>

ISBN 9785007130943

Аннотация

Тифлис — Тбилиси, Мтацминда. Гора видит всё, но молчит. Две истории: соседка с добрыми глазами обирает одинокую бабушку, забирая сервиз, кресло, память. Дальние родственники перехватывают письма, переписывают квартиру. Шакалы не воют — они улыбаются и ждут. Но музыку нельзя украсть. Нельзя отнять. Нельзя убить. Память нельзя украсть. Музыка — единственное, что остаётся. Гора не спасает, не наказывает — она готовит души к выбору. Что конкретно вы подберете к весам Осириса и перу Маат?

Содержание

ВЫБОР	5
От автора	6
Пролог	8
Сквозные мотивы	12
Хронологическая сетка	13
Часть I. Соседка	14
Глава 1. «Дом под горой»	14
Глава 2. «Птицы разлетаются»	19
Глава 3. «Свеча на ветру»	23
Глава 4. «Добрые глаза»	33
Глава 5. «Сервиз на время»	43
Конец ознакомительного фрагмента.	51

Выбор

Эрих Эрлэнбах

© Эрих Эрлэнбах, 2026

ISBN 978-5-0071-3094-3

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

ВЫБОР

От автора

Дорогой читатель!

Эта книга — художественное произведение. Все персонажи, их имена, судьбы, диалоги и события являются вымышленными. Любые совпадения с реальными людьми, живыми или умершими, а также с реальными событиями — случайны.

Мтацминда, Тбилиси, улица Ахали, церковь Святого Давида — эти места существуют. Гора действительно видит всё. Но истории, рассказанные здесь, родились из воображения автора. Они не претендуют на документальность. Они не указывают ни на кого конкретно. Они — притча. Они — память о том, чего не было, но что могло бы быть. О том, что бывает всегда и везде.

Если вы узнали в ком-то из героев себя или своих близких — это лишь игра теней и игра уже вашего воображения. Если вы узнали в ком-то шакала — это возможно зеркало. Если вы узнали в ком-то жертву — это лишь отражение. Все совпадения случайны. Все имена вымышлены. Все события — плод авторского замысла.

Автор не ставил целью очернить или обелить кого-либо. Он лишь попытался рассказать историю о выборе, о памяти, о музыке, о горе, которая молчит. И о шакалах, которые не воют, когда крадутся.

Пусть эта книга останется в вашем сердце как напоминание: гора видит всё. Но она не судит. Она готовит души к их выбору. Каждый выбирает сам.

С уважением и любовью,

Автор

Пролог

Тифлис — Тбилиси — город тысячелетий. Тёплый и гостеприимный, как объятия матери. Здесь под одним небом, под сводом первого удела Богородицы, соседствуют кирха и церковь, костёл и мечеть, синагога и соборы. Разная культура — одна душа. Над городом возвышается Святая гора Мтацминда. Она видит всё, но молчит. Не спасает, не наказывает — готовит души к выбору. Но и в этом прекрасном месте, как в любой семье, бывают свои отклонения: шакалы, что подкрадываются с добрыми глазами. Гора видит и их.

Есть места на земле, где время течёт иначе.

Не по часам. Не по календарю. А по-другому — медленно, густо, как патока. Там каждый камень помнит больше, чем люди. Там дома жмутся друг к другу, как старики на кладбище, и слушают тишину. Там ветер приносит запахи, которых уже нет: старого дерева, ладана, вина, хачапури, дыма. Там живут тени. Тени тех, кто ушёл. Тени тех, кто остался. Тени тех, кто помнит. И тени тех, кто хотел бы забыть.

Мтацминда — такое место.

Она стоит над Тбилиси, как молчаливый свидетель. Не судья. Не спаситель. Просто свидетель. Она видела всё. Рождение и смерть. Любовь и предательство. Верность и ложь. Она видела, как люди строят дома. Как они их теряют. Как

они уходят. Как они возвращаются. Как они забывают. Как они помнят.

Она видела шакалов.

Тех, кто подкрадывается с добрыми глазами. Тех, кто улыбается, помогает, говорит правильные слова — а сам берёт. Берёт вещи. Берёт память. Берёт жизнь. Шакал не воет, когда крадётся. Он ждёт. Он терпелив. Он знает: добыча сама придёт к нему. Надо только подождать. И быть рядом. И улыбаться. И говорить: «Я же не шакал. Я человек».

Она видела жертв.

Тех, кто остаётся один. Тех, чьи дети разлетелись по свету. Тех, кто сидит у окна и смотрит на гору. Тех, кто не умеет говорить «нет». Тех, кто устал. Тех, кто хочет только покоя. Тех, кого легко обмануть. Кого легко обобрать. Кого легко предать. Потому что они уже не борются. Потому что они уже не кричат. Потому что они уже не верят, что кто-то придёт.

Она видела тех, кто уехал.

Тех, кто звонил редко. Тех, кто приезжал на праздники. Тех, кто писал письма и не получал ответа. Тех, кто думал: «Всё хорошо. Всё наладится. Всё будет». Тех, кто не знал, что пока он пишет — его слова перехватывают. Пока он ждёт — его память уничтожают. Пока он надеется — его дом отнимают.

Она видела музыку.

Ту, что нельзя украсть. Нельзя отнять. Нельзя убить. Ту,

что живёт в руках. В клавишах. В памяти. В сердце. Ту, что остаётся, когда всё остальное отнято. Ту, что спасает. Ту, что возвращает к жизни.

Мтацминда видела всё. Но молчала. Не наказывала. Не спасала. Не судила. Просто смотрела. Просто видела. Просто ждала. Она готовила души людей к их выбору. Каждый выбирает сам. Каждый решает сам. Каждый живёт сам. И каждый умирает сам. И каждый помнит сам.

Эта книга — о двух тропах, ведущих к одной вершине.

Одна — о соседке. О женщине с добрыми глазами и голодной улыбкой. О бабушке, которая осталась одна. О доме, который опустел. О вещах, которые унесли. О памяти, которую украли. О тишине, которая осталась.

Другая — о дальней родне. О людях, которые перехватывали письма. О внуке, который писал в пустоту. О бабушке, которая учила музыке. О рояле, который молчал. О квартире, которую переписали. О правде, которую пытались убить.

Обе тропы ведут к горе. К Мтацминде. К святой горе. К той, что видит всё. Но молчит.

Я не знаю, кто ты, читатель. Может, ты — шакал. Может, ты — жертва. Может, ты — тот, кто уехал. Может, ты — тот, кто остался. Может, ты — тот, кто помнит. Может, ты — тот, кто хотел бы забыть. Но я знаю одно: ты — человек. И у тебя есть выбор. Каждый день. Каждую минуту. Каждое дыхание. Выбор между добром и злом. Между памятью и забвением. Между любовью и равнодушием. Между горой и бездной.

Мтацминда смотрит на тебя. Молча. Спокойно. Будто ждёт.

Что ты выберешь?

Сквозные мотивы

Мтацминда — свидетель, судья без приговора (наблюдатель).

Дом — как тело семьи: пока живёт память, он стоит; когда память предадут, он пустеет.

Вещи — сервиз, кресло, зеркало, шкаф — символы присвоения чужой жизни соседкой.

Письма — голос памяти, который пытаются уничтожить.

Музыка — единственное, что нельзя украсть.

Дорога — смерть сына, разлёт детей, возвращение внука.

Окно — взгляд на гору, граница между домом и миром.

Хронологическая сетка

1921 — расстрел отца.

1930—1940-е — взросление дочери, смерть её сына, уход брата на фронт, похоронка.

1950—1970-е — жизнь дочери как учительницы музыки, приезды внука.

1970—1980-е — разлёт детей в первой части, старение бабушки, соседка.

Позже — возвращение внука, перехваченные письма, переписанная квартира.

Часть I. Соседка

Глава 1. «Дом под горой»

Тбилиси не сразу открывается приезжему. Сначала он оглушает: гудки, гомон, запах жареного мяса и кофе, лотки с чурчхелой, музыка из открытых окон. Но стоит свернуть с проспекта Руставели в сторону Майдана, подняться по кривым улочкам, где дома стоят так тесно, что их балконы почти целуются, — и город меняет лицо. Здесь время течёт иначе. Здесь каждый камень помнит, кто по нему ходил.

Улица, где стоял дом Нино, называлась коротко и нежно — Ахали. Она начиналась у подножия Мтацминды и ползла вверх, петляя между старыми домами. Дома были разные: одни — из красного кирпича, с резными деревянными балконами, увитыми виноградом; другие — из серого камня, с глухими стенами и маленькими окнами, похожими на прищуренные глаза. Кое-где из-под штукатурки выглядывала старая кладка — следы веков, следы войн, следы любви.

Дом Нино стоял чуть ниже церкви Святого Давида. Двухэтажный, с широким балконом на втором этаже. Балкон держался на деревянных столбах, которые давно потемнели от времени. Летом виноградные лозы заплетали перила так плотно, что солнце пробивалось сквозь них зелёными пят-

нами. Под балконом, в тени, стояла старая скамья. На ней сушили фасоль, чистили грецкие орехи, а вечерами сидели старики и говорили о жизни.

Утро в этом доме начиналось с запаха. Нино вставала раньше всех — ещё до того, как петухи во дворе успевали прочистить горло. Она растапливала печь, замешивала тесто и пекла хачапури. Тесто она делала руками, долго, терпеливо, будто разговаривала с ним. Когда хачапури подрумянивался, запах — горячий, сырнй, с ноткой топлёного масла — выползал из окна и растекался по всей улице. Соседские дети просыпались от этого запаха. Взрослые улыбались. Нино знала: если в доме пахнет хлебом, значит, дом жив.

Двор был большой. Посередине росло тутовое дерево. Его тень ложилась на землю чёрным кружевом. Под деревом стоял длинный деревянный стол, за которым помещался весь двор. По вечерам здесь собирались все: Нино с детьми, соседи слева — семья кузнеца Арчила, соседи справа — вдова Лиза с двумя сыновьями. Никто не делил, кто чей. Хлеб ломали пополам. Вино наливали всем. Если кто-то болел — несли ему бульон. Если у кого-то свадьба — танцевали до рассвета, и соседские дети спали на лавках, укрытые чужими шалами.

Нино была душой этого двора. Невысокая, сухонькая, с руками, которые никогда не знали покоя. Её глаза — цвета крепкого чая, с тёмными крапинками — смотрели на мир с той спокойной ясностью, которая приходит к людям, про-

жившим большую жизнь и не потерявшим совесть. Она знала всех. Знала, у кого какие болезни, кто когда родился, у кого какие долги, кто с кем в ссоре. Но она не осуждала. Она просто знала — и старалась помочь.

— Нино, — говорил сосед Арчил, вытирая пот со лба после работы в кузнице, — ты как мать всему двору. Без тебя мы бы давно передрались.

— Не передрались бы, — отвечала она, улыбаясь. — Вы же не шакалы. Вы люди.

Тогда никто не знал, что через много лет это слово — «шакалы» — станет пророческим.

Дети Нино, Дато и Тамара, выросли в этом дворе. Дато был старшим, ему шёл четырнадцатый год, когда он впервые взял на руки новорождённую сестру. Он был высокий, худой, с длинными пальцами — руки музыканта, говорила мать. Но музыка его не интересовала. Он любил разбирать вещи: старые часы, радиоприёмники, велосипеды. Всё, что попадало в его руки, он разбирал до винтика и собирал обратно — иногда получалось лучше, чем было.

Тамара росла тихой. Она любила сидеть у окна и смотреть на гору. Мтацминда притягивала её. Девочка не могла объяснить почему, но когда она смотрела на эту гору — тёмную, спокойную, молчаливую, — ей казалось, что кто-то большой и добрый смотрит на неё в ответ.

— Мам, — спрашивала она, — а что там, на горе?

— Там храм, — отвечала Нино. — И кладбище. Там лежат

люди, которые жили до нас. Они смотрят на нас. И ждут.

— Чего ждут?

— Того, что мы станем лучше, — говорила Нино. — Или хуже. Гора видит всё.

Тамара не понимала тогда этих слов. Она поймёт их позже — когда вернётся сюда через много лет, когда всё уже будет разрушено.

Вечерами, когда солнце садилось за Куру и город окрашивался в цвет старого золота, Нино выходила на балкон. Она садилась на низкий табурет, брала в руки чашку чая и смотрела на Мтацминду. Внизу шумел город. Где-то играла музыка. Кто-то смеялся. Кто-то плакал. А гора молчала. Но в этом молчании было что-то, что Нино понимала без слов.

— Ты видишь нас? — спрашивала она тихо. — Видишь, как мы живём?

Гора не отвечала. Но Нино чувствовала: видит. И знает. И ждёт.

Она не знала, что ждёт её сама.

Медея — соседка из дома напротив — появилась в их жизни незаметно. Она была из тех женщин, которые умеют быть незаметными, пока им это выгодно. Среднего роста, чуть полноватая, с гладким лицом и мягким голосом. Она всегда улыбалась. Всегда говорила приятные вещи. Всегда была готова помочь — но только тогда, когда это видели другие.

Тогда, в те годы, она ещё не играла главной роли. Она

просто здоровалась через забор. Махала рукой. Спрашивала, как дела. Приносила соседям пироги на праздники. Её улыбка была как сахарная глазурь на подгоревшем пироге: сладкая снаружи, но внутри — горечь.

Нино не замечала этого. Нино вообще редко замечала плохое в людях. Она верила, что человек — это то, что он делает, а не то, что он говорит. А Медея делала много: помогала старухам донести сумки, сидела с чужими детьми, когда родители уходили на работу. Она была удобной. Она была нужной. Она была — как все.

Но гора видела. Гора знала: в этой женщине уже зреет что-то тёмное. Что-то, что пока спит. Что-то, что проснётся, когда придёт время.

Мтацминда наблюдала. Она видела, как трещина уже пробегает по стене дома. Не в кирпиче — в жизни. Дети росли. Время точило камень. И гора знала: скоро птицы начнут разлетаться.

Глава 2. «Птицы разлетаются»

Дато уехал в конце августа.

День был жаркий, душный. Асфальт плавился под ногами. В воздухе висел запах пыли и бензина. Дато стоял во дворе с чемоданом — старым, обшарпанным, перевязанным верёвкой. На нём была белая рубашка, которую Нино гладила полночи, и пиджак, который был ему велик в плечах.

— Мам, — сказал он, — я буду писать. Каждую неделю.

Нино кивнула. Она не плакала. Она знала: если заплачет — он не уедет. А он должен уехать. Так надо. Так правильно.

— Ты ешь хорошо, — сказала она, поправляя ему воротник. — Не забывай. И носки меняй. И не сиди на сквозняке.

— Мам.

— И если что — пиши. Я приеду.

— Мам, я не маленький.

Она посмотрела на него. На своего сына. На мальчика, который когда-то бегал по этому двору, разбивал коленки, ловил ящериц. Теперь он стоял перед ней — взрослый, чужой, с чемоданом.

— Ты всегда будешь маленьким, — сказала она тихо. — Для меня.

Дато обнял её. Крепко, как в детстве. Она почувствовала, как дрожат его плечи. Он тоже не хотел уезжать. Но жизнь диктовала своё. В Тбилиси не было работы. В Тбилиси не

было будущего. А в Москве — было. Или казалось, что было.

Машина просигналила. Дато отстранился, поднял чемодан и пошёл к воротам. У порога он обернулся.

— Я вернусь, мам. Обещаю.

Нино кивнула. Она смотрела, как он садится в машину. Как машина трогается. Как она исчезает за поворотом. И только тогда — когда уже ничего не было видно — она заплакала. Тихо, беззвучно, прижав ладонь ко рту.

Тамара уехала через два года.

Она вышла замуж за Гоги — врача из Батуми. Он был старше её на десять лет, спокойный, надёжный, с мягкими руками и добрыми глазами. Свадьбу играли во дворе. Под тутовым деревом накрыли столы. Арчил принёс вино из подвала. Лиза испекла торт. Дети бегали с лентами, взрослые танцевали, и Нино впервые за долгое время смеялась — громко, от души.

Но когда Тамара садилась в машину — в белом платье, с фатой, счастливая и испуганная одновременно, — Нино почувствовала, как что-то оборвалось внутри. Она стояла у ворот и махала рукой. Улыбалась. А внутри — пустота.

— Мам, — Тамара обняла её. — Я буду приезжать. Часто.
— Приезжай, — сказала Нино. — Я буду ждать.

Тамара уехала. Двор опустел. Гости разошлись. Остались только столы, застеленные скатертями, да запах вина и цветов. Нино села на скамью под тутовым деревом. Посмотрела на гору. Гора молчала.

Дом опустел постепенно.

Сначала Нино ещё слышала шаги детей — эхо в коридоре, скрип половиц. Потом перестала. Комнаты, где когда-то спали Дато и Тамара, стояли с закрытыми ставнями. Нино заходила туда редко. Она вытирала пыль с фотографий, поправляла скатерти, перебирала старые вещи. Иногда садилась на кровать Дато и долго смотрела в стену. Стена была пустая. Но Нино видела на ней картины прошлого: вот Дато бежит по двору, вот Тамара смеётся, вот муж — покойный — чинит крышу.

Муж Нино умер давно. Он был каменщиком. Однажды упал с лесов — неудачно, на спину. Пролежал три месяца. Умер тихо, во сне. Нино тогда ещё не была старой. Но после его смерти что-то в ней сломалось. Она стала тише. Мягче. Будто часть её ушла вместе с ним.

Теперь она осталась одна. Совсем одна.

Дети звонили. Раз в неделю. Раз в две. Голоса в трубке были далёкие, будто из другого мира. Они говорили о своих делах, о своих проблемах. Нино слушала и кивала. Она не рассказывала им, как ей тяжело. Не хотела грузить. Не хотела быть обузой.

— Мам, ты как? — спрашивал Дато.

— Хорошо, сынок, — отвечала она. — Всё хорошо.

Она врала. Не потому, что хотела обмануть. Потому что не хотела, чтобы они волновались. Потому что знала: они не приедут. У них своя жизнь. Свои дела. Своя суета.

Соседи ещё здоровались. Ещё заходили. Но уже не так, как раньше. Раньше — без стука, как к себе. Теперь — стучали. Раньше — делили радость и беду. Теперь — делили только новости. Двор, где когда-то бегали дети, затих. Виноград всё так же вился, но ягоды никто не рвал. Тутовое дерево всё так же давало тень, но под ним никто не сидел.

Нино ходила по дому и разговаривала сама с собой. Она включала радио, чтобы слышать человеческий голос. Она смотрела в окно — на Мтацминду. Гора молчала. Но в этом молчании Нино слышала: время идёт. И трещина, которая пробежала по двору, уже подбирается к её порогу.

Медея в те дни стала заходить чаще.

Она приносила хлеб. Помогала донести воду. Спрашивала о здоровье. Её голос был мягкий, как мёд. Её улыбка — широкая, как ворота. Она говорила: «Нино, ты как мать мне. Я всегда помогу. Ты только скажи».

Нино верила. Нино вообще редко замечала плохое в людях. Она видела перед собой добрую соседку, которая не бросила её в старости. Она не видела того, что видела гора: как в глазах Медеи, когда та смотрела на вещи в доме, загорался голодный блеск. Как её пальцы, касаясь старого сервиза, чуть дрожали. Как её улыбка становилась шире, когда Нино отворачивалась.

Гора видела. Гора знала. Но гора молчала.

Она ждала. Она готовила душу к выбору.

Глава 3. «Свеча на ветру»

Осень в Тбилиси — время особенное. Лето ещё цепляется за город, но по утрам уже чувствуется холодок. Воздух становится прозрачным, как стекло. Небо — глубоким, синим, без единого облака. На базарах появляются гранаты — тяжёлые, тёмно-красные, с треснувшей кожурой, из которой выглядывают рубиновые зёрна. Айва наливается золотом. Виноград — последний, самый сладкий — висит на лозах тяжёлыми гроздьями, и осы кружат над ним, пьяные от сахара.

Нино любила осень. В осени было что-то честное: она не притворялась. Лето обещало вечность, а осень говорила правду — всё проходит. Всё увядает. Всё готовится к зиме.

Она сидела на балконе, укутавшись в старый платок. Платок был когда-то красным, но выцвел до бледно-розового, как закат. Нино пила чай — горячий, крепкий, с чабрецом. Чашка была старая, с трещиной на боку. Эту чашку когда-то подарила ей мать. Мать давно умерла. Чашка осталась.

Нино смотрела на Мтацминду. Гора сегодня была особенно чёткой — каждый куст, каждая тропинка, каждая тень видны. На склоне паслись козы. Мальчик-пастух сидел на камне и играл на дудке. Звук долетал до балкона — тонкий, печальный, как голос ветра в трубе.

— Ты видишь меня? — тихо спросила Нино. — Видишь, как я сижу тут одна?

Гора не отвечала. Но Нино знала: видит.

Она поставила чашку на перила. Руки дрожали — не от холода, а от старости. В последнее время руки дрожали всё чаще. Пальцы уже не слушались так, как раньше. Нино смотрела на них — сухие, в морщинах, с тёмными пятнами — и не узнавала. Когда она успела состариться? Казалось, только вчера она бегала по двору, держа на руках Дато. Только вчера расчёсывала Тамаре волосы перед школой. Только вчера муж обнимал её за плечи, и она чувствовала его тепло.

А теперь — тишина. Пустая квартира. Чашка с трещиной. И гора.

Внизу, на улице, играли дети. Их голоса доносились глухо, будто из другого мира. Нино закрыла глаза. Она представила, что это её дети. Что Дато и Тамара снова бегают по двору. Что дом полон жизни. Что она не одна.

Она открыла глаза. Двор был пуст. Только ветер гнал по асфальту жёлтый лист.

Дети приехали на Пасху.

Дато прилетел из Москвы — осунувшийся, уставший, в дорогом пальто, которое было ему велико. Тамара приехала из Батуми с дочкой — маленькой Нино, названной в честь бабушки. Девочке было пять лет. Она смотрела на всё широкими глазами и задавала вопросы: «Бабуля, а почему тут так пахнет?», «Бабуля, а кто живёт на горе?», «Бабуля, а ты меня научишь печь хачапури?»

Нино плакала и смеялась одновременно. Она обнимала

детей, целовала внучку, накрывала на стол. Дом снова ожил. Запахло тестом, вином, жареным мясом. В комнатах загорелся свет. Ставни открыли. Пыль вытерли. Скатерти постелили.

За столом сидели все. Дато рассказывал о Москве — о работе, о пробках, о том, как трудно пробиться. Тамара говорила о Батуми — о муже, о дочке, о том, как тяжело растить ребёнка одной, когда муж на дежурствах. Нино слушала и кивала. Она не рассказывала о себе. Не хотела портить праздник.

Но Дато заметил.

— Мам, — сказал он, когда Тамара ушла укладывать дочку. — Что-то не так. Я вижу.

— Всё хорошо, сынок.

— Мам.

Он подсел ближе. Взял её руку. Его пальцы были холодные, гладкие — пальцы человека, который не работает руками.

— Ты похудела. И глаза усталые. Что случилось?

Нино молчала. Она смотрела на его лицо — взрослое, чужое, но всё ещё её мальчика. Она хотела сказать правду. Хотела рассказать, как тяжело ей одной. Как ночами она не спит. Как боится, что однажды упадёт и не сможет встать. Как соседка Медея заходит всё чаще, и с каждым разом её помощь становится всё настойчивее.

Но она не сказала.

— Старость, сынок, — улыбнулась она. — Это не болезнь. Это просто старость.

Дато не поверил. Он видел: что-то не так. Но он не знал, что именно. И он не мог остаться. У него была работа. У него была жизнь. В Москве.

Он уехал через три дня. Тамара — через неделю. Дом снова опустел. Нино стояла у ворот и махала рукой. Улыбалась. А внутри — пустота. Опять.

Медея пришла на следующий день.

— Нино, дорогая, — сказала она, входя без стука. — Я видела, дети уехали. Ты, наверное, грустишь. Я принесла тебе вина. Домашнее. От брата.

Она поставила на стол бутылку. Села на стул, будто он был её. Огляделась.

— Ой, Нино, — вздохнула она. — Ты совсем одна. Это так тяжело. Так тяжело.

Нино кивнула. Она действительно чувствовала тяжесть. Но не ту, о которой говорила Медея. Другая тяжесть — тяжесть одиночества — давила на плечи, как мокрый снег.

— Знаешь что, — сказала Медея, наливая вино в чашки. — Я буду заходить чаще. Помогать. Тебе же тяжело. А я — рядом. Я же не чужая.

Нино посмотрела на неё. В глазах Медеи было что-то — тёплое, участливое. Или ей показалось?

— Спасибо, — сказала Нино. — Ты добрая.

Медея улыбнулась. Широко. Сладко.

— Я же не шакал какой-то, — сказала она. — Я человек. Гора молчала. Но если бы Нино умела слушать — она бы услышала, как гора вздохнула.

Старость приходила медленно, но неумолимо.

Сначала Нино перестала выходить из дома дальше, чем до угла. Потом — дальше, чем до ворот. Потом — дальше, чем до балкона. Ноги слабели. Голова кружилась. Сердце билось неровно, как старый мотор.

Она всё чаще сидела у окна. Смотрела на Мтацминду. Говорила с ней. Гора стала её единственным собеседником. Дети звонили, но их голоса были далёкие. Соседи заходили, но их визиты становились всё короче. У всех была своя жизнь. Своя суета. Свои дела.

Только Медея приходила каждый день.

Она приносила хлеб. Приносила молоко. Приносила лекарства — «случайно увидела в аптеке, решила купить». Она помогала Нино дойти до кровати. Помогала приготовить еду. Помогала убрать.

Нино привыкла к ней. Привыкла ждать её шагов. Привыкла слышать её голос. Медея стала частью её жизни. Частью, без которой уже трудно было представить день.

Но иногда — по ночам, когда бессонница гнала сон прочь — Нино чувствовала что-то странное. Будто в доме есть кто-то ещё. Будто кто-то ходит по комнатам, трогает вещи, переставляет их. Она списывала это на старость. На нервы. На одиночество.

Она не знала, что это Медея. Что Медея уже давно ходит по её дому, когда Нино спит. Что её пальцы уже пересчитали все ценные вещи. Что её глаза уже оценили сервиз, кресло, зеркало, шкаф. Что её голод уже проснулся.

Гора видела. Гора знала. Но гора молчала.

Она ждала. Она готовила душу к выбору.

Однажды — это было в конце октября — Медея пришла особенно радостная.

— Нино, — сказала она с порога, — я сегодня такая счастливая! Ко мне племянник приехал. Из деревни. Хороший мальчик. Хочу угостить его по-человечески. А у меня посуда вся треснутая. Стыдно перед гостем.

Она вздохнула. Посмотрела на Нино. Её глаза были полны печали — искусственной, как цветы из бумаги.

— Нино, дорогая, — сказала она тихо. — У тебя же есть тот сервиз. Помнишь? Тот, с синими цветами. Он же стоит без дела. Ты им не пользуешься. А я бы взяла. На время. Гостя встретить. Потом верну.

Нино посмотрела на сервиз. Он стоял в серванте — за стеклом, на верхней полке. Синие цветы на белом фарфоре. Этот сервиз когда-то подарили ей на свадьбу. Он был дорогой. Он был памятью.

— Это память, — сказала Нино тихо. — Это от мужа.

— Я знаю, — Медея прижала руку к груди. — Я знаю, как это важно. Я верну. Честное слово. Только на один вечер.

Нино колебалась. Она смотрела на сервиз. Потом на Ме-

дею. Потом снова на сервиз.

— Хорошо, — сказала она. — Возьми. Только верни.

— Конечно, верну! — Медея просияла. — Я же не шакал. Я человек.

Она взяла сервиз. Аккуратно, бережно, будто несла ребёнка. И ушла.

Сервиз она не вернула.

Нино спросила через неделю. Медея вздохнула: «Ой, Нино, я разбила одну тарелку. Стыдно. Я куплю новую. Но пока — пусть у меня побудет. Я боюсь, что ты расстроишься».

Нино расстроилась. Но не сказала. Она не умела говорить «нет». Не умела требовать. Не умела ссориться. Она просто замолчала. И стала ждать.

Сервиз не вернулся. Зато вернулась Медея. Через месяц. С новой просьбой.

— Нино, дорогая, — сказала она, — у тебя кресло такое удобное. А у меня спина болит. Врач сказал — сидеть только в мягком. А у меня всё жёсткое. Дай, а? На время. Пока спина не пройдёт.

Нино посмотрела на кресло. Это было кресло её мужа. Он сидел в нём по вечерам, читал газеты, курил. После его смерти Нино не позволяла никому садиться в это кресло. Оно было святое.

— Медея, — сказала она тихо. — Это кресло мужа.

— Я знаю, — Медея закивала. — Я знаю. Но он же умер. Ему уже всё равно. А мне больно. Ты же не хочешь, чтобы

я мучилась?

Нино молчала. Она смотрела на кресло. Потом на Медею. Потом снова на кресло.

— Хорошо, — сказала она. — Возьми.

Кресло уехало в тот же день. Медея пришла с сыном — молодым, крепким парнем, который молча вынес кресло и не сказал ни слова. Нино стояла у окна и смотрела, как её жизнь уносят по частям.

Гора молчала.

Потом уехало зеркало. Резное, в тяжёлой раме. Потом — шкаф. Потом — ковёр. Потом — часы. Потом — ещё что-то. Нино уже не считала. Она просто смотрела, как пустеет её дом. Как стены становятся голыми. Как память вытекает сквозь пальцы, как вода.

Медея приходила всё чаще. Её голос становился всё мягче. Её улыбка — всё шире. Она говорила: «Нино, ты же понимаешь, я не для себя. Я для дела. Я же помогаю тебе. Ты же старая. Тебе тяжело. А я рядом».

Нино кивала. Она уже не сопротивлялась. Она устала. Она хотела только одного: чтобы её оставили в покое. Чтобы можно было сидеть у окна и смотреть на гору. Чтобы никто не приходил. Чтобы никто не просил.

Но Медея приходила. Каждый день. Каждый час. Она стала хозяйкой в доме Нино. Она решала, что можно взять, а что пока рано. Она распределяла. Она планировала. Она уже видела этот дом своим.

Однажды ночью Нино проснулась от странного звука. Кто-то ходил в соседней комнате. Она встала, накинула платок, вышла в коридор. Дверь в комнату Дато была приоткрыта. Там горел свет.

Нино заглянула. Медея стояла посреди комнаты. Она держала в руках старую фотографию — Дато и Тамара, маленькие, смеются. Медея смотрела на фотографию долго, будто изучала. Потом положила её в карман.

— Что ты делаешь? — тихо спросила Нино.

Медея вздрогнула. Обернулась. На её лице промелькнуло что-то — злое, быстрое, как тень. Потом исчезло. Улыбка вернулась.

— Ой, Нино! — сказала она. — Ты напугала меня. Я тут убираю. Смотрю, пыль. Ты же не против?

Нино смотрела на неё. Молча. Долго.

— Я не против, — сказала она наконец. — Убирай.

Она вернулась в свою комнату. Легла. Закрывает глаза. Но не спала. Она слышала, как Медея ходит по дому. Как открывает шкафы. Как перебирает вещи. Как шепчет что-то — тихо, довольно.

Нино лежала и думала: «Кто эта женщина? Почему она в моём доме? Почему я позволяю ей всё это?»

Она не находила ответа. Она просто устала. Она хотела покоя.

Утром Медея ушла. Вечером вернулась. С сумками. С продуктами. С лекарствами. С улыбкой.

— Нино, — сказала она, — я подумала: тебе тяжело одной. Давай я буду приходить чаще. Я буду за тобой ухаживать. Как за матерью. Ты же мне как мать.

Нино молчала.

— А за это, — продолжала Медея, — ты мне отдашь вот эту комнату. Ту, где Дато жил. Мне негде хранить вещи. А у тебя пусто. Ты же не против?

Нино посмотрела на неё. Впервые за долгое время — внимательно. Она увидела всё: и жадность в глазах, и притворство в улыбке, и ложь в голосе. Она увидела шакала. Но шакал смотрел на неё с такой нежностью, что Нино засомневалась: может, ей кажется? Может, она просто старая и глупая?

— Я подумаю, — сказала она.

— Конечно, подумай, — Медея погладила её по руке. — Я не тороплю. Я же не шакал. Я человек.

Гора молчала. Но в этом молчании было что-то новое. Что-то тёмное. Что-то, что готовилось.

Свеча на ветру — так называла себя Нино. Она горела тихо, ровно, никого не обжигая. Но ветер крепчал. И свеча уже почти догорела.

Глава 4. «Добрые глаза»

Зима пришла в Тбилиси незаметно.

Ещё вчера солнце грело по-осеннему, лаская черепичные крыши, и старики сидели на скамейках у ворот, подставляя лица последнему теплу. А сегодня — серое небо, низкое, как потолок в подвале. Ветер с гор принёс холод. Лужи подёрнулись тонкой коркой льда. Из труб повалил дым — густой, пахнувший дровами и кизяком. Город съёжился, спрятался в шерстяные платки и старые пальто.

Мтацминда стала тёмной. Её склоны, ещё вчера золотые от осенней листвы, теперь чернели голыми ветвями. Гора будто надела траур. Или — готовилась к чему-то.

Нино почти не выходила из дома. Ноги совсем ослабли. Колени ныли, будто внутри сидел кто-то с иголками. Она передвигалась по квартире медленно, держась за стены. От кровати — до окна. От окна — до кухни. От кухни — обратно. Три шага туда, три обратно. Круг замкнулся.

Она уже не пекла хачапури. Не могла. Тесто требовало силы — месить, ждать, раскатывать. Силы не было. Оставалась только память о запахе. Иногда Нино закрывала глаза и представляла, что дом снова пахнет хлебом. Что дети бегают по двору. Что муж чинит крышу. Она открывала глаза — и видела пустые стены.

Дети звонили реже. У Дато были проблемы на работе. У

Тамары болела дочка. Жизнь шла своим чередом — без неё. Нино не обижалась. Она понимала: так устроено. Птицы улетают. Гнездо пустеет. Так всегда было. Так всегда будет.

Но по ночам, когда бессонница выгоняла сон, Нино лежала в темноте и слушала тишину. Тишина была густая, как войлок. В ней тонули звуки города, голоса соседей, лай собак. Только сердце стучало — глухо, неровно. И где-то далеко, на горе, шелестел ветер.

— Ты видишь меня? — шептала Нино. — Ты видишь, как я тут лежу?

Гора молчала. Но Нино знала: видит. И ждёт.

Медея пришла в первый день зимы.

Она вошла без стука — как всегда. Страхнула снег с плеч. Поставила на стол сумку. Огляделась.

— Нино, дорогая, — сказала она, — тут холодно. Почему печку не топишь?

Нино сидела у окна, укутанная в три платка. Поверх — старое пальто мужа. Оно было ей велико, но грело.

— Дров мало, — сказала она тихо. — Экономлю.

Медея всплеснула руками.

— Как — мало? Я же тебе говорила: скажи, и я принесу. У меня брат дровами торгует. Я договорюсь. Почему ты молчишь?

Нино не ответила. Она смотрела в окно. На гору. На снег, который ложился на её склоны белыми пятнами.

Медея подошла ближе. Села на стул — тот самый, кото-

рый ещё оставался в доме. Наклонилась к Нино. Её лицо было близко — гладкое, румяное, с мягкими морщинками у глаз. Красивое лицо. Доброе лицо.

— Нино, — сказала она тихо, — ты меня слушаешь?

Нино кивнула.

— Ты знаешь, что я тебя люблю? — продолжала Медея. — Как мать. Ты мне как мать. Я не могу смотреть, как ты тут мёрзнешь. Это не дело. Так нельзя.

Она взяла руку Нино. Её пальцы были тёплые, мягкие. Пальцы человека, который никогда не работал в холод.

— Давай так, — сказала Медея. — Я буду заходить каждый день. Утром и вечером. Буду топить печку. Готовить еду. Убирать. Ты же старая. Тебе тяжело. А я — рядом. Я же не чужая.

Нино смотрела на неё. В глазах Медеи было что-то — тёплое, участливое. Или ей казалось?

— Спасибо, — сказала Нино. — Ты добрая.

Медея улыбнулась. Широко. Сладко.

— Я же не шакал какой-то, — сказала она. — Я человек.

Гора молчала. Но если бы Нино умела слушать — она бы услышала, как гора вздохнула.

Медея стала приходить каждый день.

Утром — в девять. Вечером — в шесть. Она топила печку. Приносила дрова. Приносила продукты. Готовила суп. Мыла посуду. Подметала пол. Стирала бельё. Она делала всё — быстро, ловко, будто всю жизнь только этим и занималась.

Нино сидела у окна и смотрела. Она уже не могла помогать. Не могла даже встать без посторонней руки. Она стала наблюдателем в собственном доме. Медея — хозяйкой.

— Нино, — говорила Медея, — ты поешь? Ложку за маму, ложку за папу. Ну, давай. Вот умница.

Она кормила Нино с ложки, как ребёнка. Вытирала салфеткой губы. Поправляла платок. Укрывала одеялом. Её руки были везде. Её голос был везде. Она заполнила собой весь дом.

Иногда Нино ловила себя на странном чувстве. Будто она — не она. Будто это не её жизнь. Будто она смотрит кино, а на экране — старая женщина, которая сидит у окна и ждёт. Ждёт, когда её накормят. Ждёт, когда её уложат. Ждёт, когда её оставят в покое.

Она не могла вспомнить, когда в последний раз сама наливала себе чай. Когда сама открывала дверь. Когда сама решала, что делать.

Всё решала Медея.

— Нино, сегодня мы будем пить чай с мёдом. Мёд полезен для сердца. Я принесла от пасечника. Настоящий, горный.

— Нино, тебе надо менять платок. Этот уже старый. Я принесла новый. Смотри, какой красивый. Голубой. Тебе идёт.

— Нино, окно не надо открывать. Простудишься. Вот, я сама проветрю. Потом закрою.

Нино слушалась. Она уже не сопротивлялась. Сопротив-

ление требовало сил. Силы кончились. Осталась только покорность. И окно. И гора.

Но иногда — по ночам — Нино просыпалась от странного звука. Шаги. Тихие, крадущиеся. Кто-то ходил по квартире. Открывал шкафы. Переставлял вещи. Нино лежала и слушала. Сердце стучало. Она хотела встать. Не могла. Ноги не слушались.

Она закрывала глаза и делала вид, что спит. Шаги приближались. Останавливались у её кровати. Кто-то стоял рядом. Долго. Молча. Потом шаги удалялись. Дверь скрипела. Всё стихало.

Утром Нино не помнила, было ли это на самом деле. Может, сон? Может, старость? Может, нервы?

Она спрашивала Медею:

— Ты ночью не приходила?

Медея смотрела на неё честными глазами.

— Ночью? Нет, Нино. Я сплю. Я же не сумасшедшая. Зачем мне ночью ходить?

Нино кивала. Наверное, показалось. Наверное, сон.

Но однажды — это было в конце января — она проснулась от холода. Печка не топилась. В доме было студёно. Нино лежала, укрытая двумя одеялами, и смотрела в потолок. Трещины на потолке складывались в узор. Узор был похож на лицо. Лицо было злое.

Она встала. Медленно, держась за стену. Пошла в коридор. Дверь в комнату Дато была приоткрыта. Там горел свет.

Нино заглянула.

Медя стояла посреди комнаты. Она держала в руках шкатулку — старую, деревянную, с резной крышкой. Шкатулку мужа. Там хранились письма, фотографии, орден за участие в войне. Медя открыла крышку. Достала письма. Стала читать.

— Что ты делаешь? — тихо спросила Нино.

Медя вздрогнула. Обернулась. На её лице промелькнуло что-то — злое, быстрое, как тень. Потом исчезло. Улыбка вернулась.

— Ой, Нино! — сказала она. — Ты напугала меня. Я тут убираю. Смотрю, пыль. Ты же не против?

Нино смотрела на шкатулку. На письма. На руки Медяи.

— Это письма мужа, — сказала она тихо. — Положи на место.

— Конечно, конечно, — Медя закивала. — Я же не знала. Я думала, это старые бумаги. Мусор. Я хотела выбросить.

— Не надо выбрасывать, — сказала Нино. — Это память.

— Память, — повторила Медя. — Да, память. Это важно. Я понимаю.

Она положила письма обратно в шкатулку. Закрыла крышку. Поставила на полку. Улыбнулась.

— Иди спать, Нино. Я тут приберусь.

Нино не двинулась. Она стояла в дверях и смотрела на Медю. Впервые за долгое время — внимательно. Она видела всё: и жадность в глазах, и притворство в улыбке, и ложь

в голосе. Она видела шакала. Но шакал смотрел на неё с такой нежностью, что Нино засомневалась: может, ей кажется? Может, она просто старая и глупая?

— Медея, — сказала она тихо. — Зачем ты приходишь?

— Как — зачем? — Медея прижала руку к груди. — Я же помогаю. Ты же старая. Тебе тяжело. А я — рядом. Я же не чужая.

— Ты мне не родня, — сказала Нино.

Медея замерла. Её лицо на секунду стало другим. Злым. Жёстким. Потом снова — мягким. Сладким.

— Нино, — сказала она с укором. — Как ты можешь так говорить? Я же тебя люблю. Я же как дочь тебе. Я же всё для тебя делаю. А ты — «не родня». Обидно, Нино. Очень обидно.

Нино молчала. Она смотрела на Медею и думала: «Кто эта женщина? Почему она в моём доме? Почему я позволяю ей всё это?»

Она не находила ответа. Она просто устала. Она хотела покоя.

— Ладно, — сказала она. — Иди. Я спать.

Она вернулась в свою комнату. Легла. Закрывает глаза. Но не спала. Она слышала, как Медея ходит по дому. Как открывает шкафы. Как перебирает вещи. Как шепчет что-то — тихо, довольно.

Нино лежала и слушала. Слезы текли по щекам. Она не вытирала их. Пусть текут. Пусть всё вытечет. Пусть останет-

ся только пустота.

Утром Медея ушла. Вечером вернулась. С сумками. С продуктами. С лекарствами. С улыбкой.

— Нино, — сказала она, — я подумала: тебе тяжело одной. Давай я буду приходить чаще. Я буду за тобой ухаживать. Как за матерью. Ты же мне как мать.

Нино молчала.

— А за это, — продолжала Медея, — ты мне отдашь вот эту комнату. Ту, где Дато жил. Мне негде хранить вещи. А у тебя пусто. Ты же не против?

Нино посмотрела на неё. Впервые за долгое время — внимательно. Она увидела всё: и жадность в глазах, и притворство в улыбке, и ложь в голосе. Она увидела шакала. Но шакал смотрел на неё с такой нежностью, что Нино засомневалась: может, ей кажется? Может, она просто старая и глупая?

— Я подумаю, — сказала она.

— Конечно, подумай, — Медея погладила её по руке. — Я не тороплю. Я же не шакал. Я человек.

Гора молчала. Но в этом молчании было что-то новое. Что-то тёмное. Что-то, что готовилось.

Шакал не воет, когда крадётся. Он ждёт. Он терпелив. Он знает: добыча сама придёт к нему. Надо только подождать. И улыбаться. И говорить добрые слова. И быть рядом.

Медея была рядом. Каждый день. Каждый час. Она стала тенью Нино. Её голосом. Её руками. Её волей.

Нино уже не помнила, когда в последний раз была одна.

Когда в последний раз сама решала, что делать. Когда в последний раз чувствовала себя хозяйкой в собственном доме.

Она стала гостьей. Гостьей, которую терпят. Гостьей, которую кормят. Гостьей, которую ждут — когда уйдёт.

Однажды — это было в феврале — Нино сидела у окна. Смотрела на гору. Мтацминда была белая. Снег лежал на её склонах, как саван. Церковь Святого Давида выделялась тёмным пятном. Внизу, у подножия, копошились люди. Маленькие, как муравьи. Они что-то делали. Куда-то шли. О чём-то говорили.

Нино смотрела на них и думала: «Я тоже была такой. Я тоже шла. Я тоже говорила. Я тоже жила. А теперь — только окно. Только гора. Только тишина».

Она закрыла глаза. Ей вдруг захотелось молитвы. Но она не помнила слов. Она помнила только одно: «Господи, помоги». Три слова. Простые. Как хлеб. Как вода. Как воздух.

Она открыла глаза. Гора смотрела на неё. Молча. Спокойно. Будто ждала.

— Ты видишь меня? — спросила Нино. — Ты видишь, что со мной делают?

Гора молчала.

— Почему ты молчишь? — прошептала Нино. — Почему ты не скажешь ничего?

Гора молчала.

— Ты же святая, — сказала Нино. — Ты же видишь всё. Почему ты не остановишь её?

Гора молчала.

Нино опустила голову. Слёзы текли по щекам. Она не вытирала их. Она просто сидела и плакала. Тихо. Беззвучно. Как плачут старики — без надежды.

В комнату вошла Медея. Она несла чай. Увидела слёзы. Поставила чашку на стол. Подошла. Обняла Нино за плечи.

— Нино, дорогая, — сказала она мягко. — Что ты плачешь? Кто тебя обидел?

Нино не ответила. Она смотрела на гору.

— Это всё старость, — сказала Медея. — Старость — она такая. Слёзы без причины. Мысли чёрные. Ты не думай. Ты пей чай. Чай с мёдом. Я же для тебя. Я же как дочь.

Она погладила Нино по голове. Её рука была тёплая. Мягкая. Ласковая.

— Я же не шакал, — сказала она. — Я человек.

Нино закрыла глаза. Она больше не хотела видеть. Ни Медею. Ни гору. Ни себя. Она хотела только одного: чтобы всё это закончилось. Чтобы её оставили в покое. Чтобы можно было уйти. Тихо. Без боли. Как свеча, которая догорела.

Гора молчала. Но в этом молчании было что-то новое. Что-то тёмное. Что-то, что готовилось.

Свеча на ветру — так называла себя Нино. Она горела тихо, ровно, никого не обжигая. Но ветер крепчал. И свеча уже почти догорела.

Глава 5. «Сервиз на время»

Весна в Тбилиси — это праздник, который начинается внезапно.

Ещё вчера улицы были серые, мокрые, продрогшие. Ветер гнал по асфальту обрывки газет и прошлогоднюю листву. А сегодня — солнце. Тёплое, щедрое, как объятия матери. Небо — голубое, глубокое, без единого облака. На деревьях — первые почки, клейкие, зелёные, пахнущие жизнью. На базарах — первая зелень: кинза, тархун, зелёный лук. Женщины в ярких платьях. Мужчины без пальто. Дети с мячами. Город сбросил зимнюю шкуру и заулыбался.

Мтацминда тоже ожила. Склоны зазеленели. На кладбище, что раскинулось у подножия церкви Святого Давида, зацвели абрикосы. Их розовые цветы были похожи на облака, которые спустились с неба и запутались в ветвях. Ветер приносил запах цветов и ладана. На смотровой площадке гуляли влюблённые. Старики сидели на лавочках и грелись. Мальчишки запускали воздушных змеев.

Нино смотрела на всё это из окна. Она уже не выходила. Ноги совсем отказали. Она передвигалась только по квартире — от кровати до окна, от окна до стула. Три шага. Круг замкнулся. Она стала пленницей собственного тела.

Но глаза ещё видели. И сердце ещё чувствовало. Она видела, как город просыпается. Как жизнь идёт мимо. Как где-

то там, внизу, люди смеются, любят, рожают детей, хоронят стариков. Она видела — и не могла участвовать. Она стала зрителем. Зрителем в последнем ряду.

Медея приходила каждый день. Утром — в девять. Вечером — в шесть. Она топила печку. Приносила продукты. Готовила суп. Мыла посуду. Стирала бельё. Она делала всё — быстро, ловко, будто всю жизнь только этим и занималась. Она стала тенью Нино. Её голосом. Её руками. Её волей.

Нино уже не помнила, когда в последний раз была одна. Когда в последний раз сама решала, что делать. Когда в последний раз чувствовала себя хозяйкой в собственном доме. Она стала гостьей. Гостьей, которую терпят. Гостьей, которую кормят. Гостьей, которую ждут — когда уйдёт.

Однажды — это было в конце марта — Медея пришла особенно радостная.

Она вошла без стука. Страхнула с плеч невидимую пыль. Поставила на стол сумку. Огляделась. В её глазах был особый блеск — голодный, острый, как у кошки, которая увидела мышь.

— Нино, дорогая, — сказала она с порога. — У меня сегодня такой день! Племянник приехал. Из деревни. Хороший мальчик. Хочу угостить его по-человечески. А у меня посуда вся треснутая. Стыдно перед гостем.

Она вздохнула. Посмотрела на Нино. Её глаза были полны печали — искусственной, как цветы из бумаги.

— Нино, — сказала она тихо. — У тебя же есть тот сервиз.

Помнишь? Тот, с синими цветами. Он же стоит без дела. Ты им не пользуешься. А я бы взяла. На время. Гостя встретить. Потом верну.

Нино посмотрела на сервиз. Он стоял в серванте — за стеклом, на верхней полке. Синие цветы на белом фарфоре. Этот сервиз когда-то подарили ей на свадьбу. Он был дорогой. Он был памятью. Каждая чашка, каждая тарелка, каждый бокал — это был кусочек её жизни. Её молодости. Её любви.

— Это память, — сказала Нино тихо. — Это от мужа.

— Я знаю, — Медея прижала руку к груди. — Я знаю, как это важно. Я верну. Честное слово. Только на один вечер.

Нино колебалась. Она смотрела на сервиз. Потом на Медею. Потом снова на сервиз. Внутри неё боролись две силы. Одна говорила: «Не отдавай. Это твоё. Это память. Это последнее, что у тебя осталось». Другая говорила: «Отдай. Ты старая. Тебе тяжело. Она помогает. Ты должна быть благодарной».

— Хорошо, — сказала она. — Возьми. Только верни.

— Конечно, верну! — Медея просияла. — Я же не шакал. Я человек.

Она подошла к серванту. Открыла дверцу. Взяла сервиз. Аккуратно, бережно, будто несла ребёнка. Каждую чашку завернула в бумагу. Каждую тарелку проложила тряпицей. Она делала это медленно, тщательно, с любовью. С любовью к вещам. Не к Нино.

— Спасибо, Нино, — сказала она, стоя в дверях. — Ты настоящий друг. Я всегда это знала.

Она ушла. Дверь закрылась. Нино осталась одна. Она смотрела на пустую полку в серванте. Там, где стоял сервиз, осталось только светлое пятно на пыльном стекле. Пятно было похоже на призрак. Призрак памяти.

Сервиз она не вернула.

Нино спросила через неделю. Медея вздохнула.

— Ой, Нино, — сказала она, и в её голосе была печаль. — Я разбила одну тарелку. Стыдно. Я такая неловкая. Я куплю новую. Но пока — пусть у меня побудет. Я боюсь, что ты расстроишься.

Нино расстроилась. Но не сказала. Она не умела говорить «нет». Не умела требовать. Не умела ссориться. Она просто замолчала. И стала ждать.

Сервиз не вернулся.

Через месяц Медея пришла с новой просьбой.

— Нино, дорогая, — сказала она, усаживаясь на стул. — У тебя кресло такое удобное. А у меня спина болит. Врач сказал — сидеть только в мягком. А у меня всё жёсткое. Дай, а? На время. Пока спина не пройдёт.

Нино посмотрела на кресло. Это было кресло её мужа. Он сидел в нём по вечерам, читал газеты, курил. После его смерти Нино не позволяла никому садиться в это кресло. Оно было святое. Оно было памятью. Оно было последним, что осталось от него.

— Медея, — сказала она тихо. — Это кресло мужа.

— Я знаю, — Медея закивала. — Я знаю. Но он же умер. Ему уже всё равно. А мне больно. Ты же не хочешь, чтобы я мучилась?

Нино молчала. Она смотрела на кресло. Потом на Медею. Потом снова на кресло. Внутри неё что-то сжалось. Что-то тёмное. Что-то, что не хотело отдавать.

— Медея, — сказала она. — Не надо.

Медея изменилась в лице. Улыбка исчезла. Глаза стали холодные. Она смотрела на Нино долго. Молча. Потом снова улыбнулась. Но улыбка была другая. Жёсткая. Как стекло.

— Нино, — сказала она. — Я же тебе помогаю. Каждый день. Я трачу своё время. Свои силы. Я не сплю ночами. Я всё для тебя. А ты — «не надо». Обидно, Нино. Очень обидно.

Нино молчала. Она чувствовала, как что-то внутри неё сжимается. Что-то, что ещё сопротивлялось. Что-то, что ещё помнило, кто она.

— Ладно, — сказала она. — Возьми.

Кресло уехало в тот же день. Медея пришла с сыном — молодым, крепким парнем, который молча вынес кресло и не сказал ни слова. Нино стояла у окна и смотрела, как её жизнь уносят по частям.

Гора молчала.

Потом уехало зеркало. Резное, в тяжёлой раме. Зеркало висело в прихожей. В нём отражались все, кто входил в дом.

Муж. Дети. Соседи. Гости. Оно помнило всё. Медея сказала: «Нино, у тебя зеркало такое красивое. А у меня в прихожей пусто. Дай, а? На время. Потом верну».

Нино не сопротивлялась. Она уже поняла: сопротивление бесполезно. Медея всё равно возьмёт. Вопрос только — когда. И под каким предлогом.

Зеркало уехало. Потом — шкаф. Огромный, дубовый, с резными дверцами. Шкаф, который помнил свадьбу Нино. Шкаф, в котором висели платья — её и мужа. Шкаф, который пахнул лавандой и старой кожей.

— Нино, — сказала Медея, — шкаф такой большой. А у тебя вещей мало. Он пустует. А мне негде хранить. Дай, а? На время.

Нино не ответила. Она просто отвернулась. К окну. К горе.

Шкаф уехал. Потом — ковёр. Тот самый ковёр, который висел на стене в гостиной. Красный, с золотым узором. Ковёр, который муж привёз из Ирана. Ковёр, под которым прошло всё её счастье.

— Нино, ковёр такой тяжёлый. Его надо чистить. А у тебя силы нет. Дай, я почищу. Потом верну.

Ковёр уехал. Потом — часы. Старые, с маятником. Часы, которые отбивали время. Время жизни. Время любви. Время потерь.

— Нино, часы громко тикают. Тебе мешают спать. Дай, я их возьму. Пока.

Часы уехали. Потом — ещё что-то. Потом — ещё. Нино уже не считала. Она просто смотрела, как пустеет её дом. Как стены становятся голыми. Как память вытекает сквозь пальцы, как вода.

Она стала замечать, что Медея приходит не только днём. Иногда — ночью. Нино слышала шаги. Тихие, крадущиеся. Кто-то ходил по квартире. Открывал шкафы. Переставлял вещи. Нино лежала и слушала. Сердце стучало. Она хотела встать. Не могла. Ноги не слушались.

Утром она спрашивала:

— Медея, ты ночью не приходила?

Медея смотрела на неё честными глазами.

— Ночью? Нет, Нино. Я сплю. Я же не сумасшедшая. Зачем мне ночью ходить?

Нино кивала. Наверное, показалось. Наверное, сон. Наверное, старость.

Но однажды — это было в апреле — она проснулась от холода. Печка не топилась. В доме было студёно. Нино лежала, укрытая двумя одеялами, и смотрела в потолок. Трещины на потолке складывались в узор. Узор был похож на лицо. Лицо было злое.

Она встала. Медленно, держась за стену. Пошла в коридор. Дверь в комнату Дато была приоткрыта. Там горел свет.

Нино заглянула.

Медея стояла посреди комнаты. Она держала в руках шкатулку — старую, деревянную, с резной крышкой. Шкатулку

мужа. Там хранились письма, фотографии, орден за участие в войне. Медея открыла крышку. Достала письма. Стала читать.

— Что ты делаешь? — тихо спросила Нино.

Медея вздрогнула. Обернулась. На её лице промелькнуло что-то — злое, быстрое, как тень. Потом исчезло. Улыбка вернулась.

— Ой, Нино! — сказала она. — Ты напугала меня. Я тут убираю. Смотрю, пыль. Ты же не против?

Нино смотрела на шкатулку. На письма. На руки Медеи.

— Это письма мужа, — сказала она тихо. — Положи на место.

— Конечно, конечно, — Медея закивала. — Я же не знала. Я думала, это старые бумаги. Мусор. Я хотела выбросить.

— Не надо выбрасывать, — сказала Нино. — Это память.

— Память, — повторила Медея. — Да, память. Это важно. Я понимаю.

Она положила письма обратно в шкатулку. Закрыла крышку. Поставила на полку. Улыбнулась.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.